

если на будущем реальном или гипотетическом суде этот вурдалак скажет в адрес господ интеллектуалов, исповедующих и проповедующих идеи Ницше, что это они убийцы, поскольку научили его, а он лишь исполнил, то будет совершенно прав.

Философским мэтрам, кажется, совершенно невдомек, что упорно предлагать идеи Ницше в качестве «духовных скреп» народу, полностью растерявшему все ориентиры, заблудившемуся на исторических перепутьях, означает уподобить этот народ героям картины Брейгеля «Слепые». «Они — слепые — в подарок!», умолчав, однако, о возможных последствиях динамитной силы ницшевских идей, о их способности взрывать не только людей, но и зверей.

Что к этому добавить? А уже почти нечего, ибо поздно. Поздно, поскольку уже звонит колокол. И не надо спрашивать, по ком он звонит. Не стоит спрашивать, как выглядит антропологическая катастрофа. В интеллектуальном поднебесье наши философские учителя вывели своими стараниями одну из современных формул условий и предпосылок этой катастрофы: «Ницше — в подарок!», умолчав, однако, о возможных последствиях динамитной силы ницшевских идей, о их способности взрывать не только людей, но и зверей.

Эти идеи, предназначенные разрушать, не выглядят монстрами только потому, что облачены во вполне приличные интеллектуальные упаковки. Деструктивная, смертоносная начинка запрятана глубоко вовнутрь. Если вам приходилось, скажем, держать в руках ручную гранату, то она вряд ли вызывала у вас своим видом отвращение и ужас. Внешне она выглядит вполне приемлемо — эдакий металлический, аккуратненький, зелененький, гладенький лимончик, который при желании можно погладить или даже лизнуть языком. Но под этим покровом затаились смерть, кровь, оторванные конечности, развороченные человеческие внутренности и прочие ужасы.

Кто хотел бы, чтоб такие опасные для жизни предметы продавались в магазинах, лежали на полках, имелись у людей дома? Ах, вы не хотите! Но извините, уже поздно! Они уже с нами, вокруг нас, в наших домах и в нас самих. Если ружье, которое у Чехова висит на сцене в первом акте, обязательно выстрелит в третьем, то Ницше-динамит, которым кто-то старательно напичкивает нашу жизненную среду, тоже обладает аналогичными свойствами. Предназначение динамита — убивать. Цель динамита — смерть.

...И вспоминается реплика Пушкина: «Боже мой, как грустна наша Россия!» Получается, что чем веселее в ней жить, тем грустнее...

РЕЦЕНЗИИ

«ТО, ЧТО МЫ ЗОВЕМ ДУШОЙ...»

Александр Кушнер. Избранные стихи. СПб., 2016.

В этой книге собрано лучшее из того, что поэт написал за всю свою предыдущую жизнь — лет этак за 70 с лишним, потому что начал писать стихи в восемь и продолжает до сих пор. Из книги восстает его поэтический путь. Можно сказать, что и мы проходили этот путь вместе с ним, во всяком случае рядом с ним. Это наш поэт, поэт нашего поколения, поэт петербургской школы. Хрущевская «оттепель», новое сгущение сумрачных туч, двигавшихся назад — в сторону тюрем и пси-

хушек и очередного признания «заслуг» Сталина; затем взрыв и эйфория освобождения от всепроникающей власти КПСС, упоение свободой, превратившейся опять, как всегда, в некую фикцию; хотя и загнать все назад уже невозможно... Все это пережито нашим поколением вместе с Кушнером. Но его поэзия находилась не на поверхности, а в глубинном слое жизни, как обычно бывает с настоящей поэзией.

Проходя через эти годы, Александр Кушнер никогда не изменял себе. Он оставался самим собой во все времена, начиная со сборника «Первое впечатление». Первое его стихотворение, которое мне довелось прочитать среди других стихов молодых поэтов, присланных для передачи на телевидение, было: «К двери приклонюсь одним плечом, / В комнату войду, гремя ключом. / Я и через сотни тысяч лет / В темноте найду рукою свет...» И оно сразу обращало на себя внимание непохожестью на других, своей, особой интонацией.

Это небольшое стихотворение и весь сборник вызвали разгромную рецензию почему-то в «Крокодиле» под ядовитым названием «Четырехугольная тоска». Появилась вскоре и не менее обличительная рецензия в ленинградской молодежной газете «Смена». Нельзя сказать, что Кушнер отнесся совсем безразлично к официозным нападкам. Это было тяжело, было тогда почти равносильно запрету печататься, что нынешним молодым людям даже трудно понять. Но Кушнер все равно просто не умел писать иначе. Путь его проходил где-то в стороне от великих строек коммунизма и прочих «великих свершений». Проходил там, где существует личная, частная жизнь, где признают настоящие ценности, а не пустозвонные лозунги, где существует понятие «душа», находившееся в советской стране чуть ли не под запретом, как нечто сомнительное. Ничего антисоветского, но именно этот путь «в стороне», которым шел, кстати, и Бродский, вызывал постоянные подозрения и нарекания, был назван всякими глупцами, но глупцами, власть имущими, «безыдейностью» и даже, что совсем уж смешно, иногда и «формализмом».

То, что мы зовем душой,
 Что, как облако, воздушно
 И блестит во тьме ночной
 Своенравно, непослушно
 Или вдруг, как самолет,
 Тоньше колющей булавки,
 Корректирует с высот
 Нашу жизнь, внося поправки;

То, что с птицей наравне
 В синем воздухе мелькает,
 Не сгорает на огне,
 Под дождем не размокает,
 Без чего нельзя вздохнуть,
 Ни глупца простить в обиде;
 То, что мы должны вернуть,
 Умирая, в лучшем виде...

Это писалось в те годы, когда душа считалась действительно вредным религиозным вымыслом...

И тогда же, еще в шестидесятые, то есть в свои 30 лет, Кушнер уже часто писал о смерти (не рано ли? — нет, не рано!):

Но и в самом легком дне,
Самом тихом, незаметном,
Смерть, как зернышко на дне,
Светит блеском разноцветным.
В рощу, в поле, в свежий сад,
Злей хвоща и молочая,
Проникает острый яд,
Сердце тайно обжигая...

Как отличались эти стихи от многого, что писалось тогда по фальшивым запросам советской идеологии, как они радовали, и волновали, и заставляли думать!

Одно из моих любимых стихотворений («Я шел вдоль припухлой тяжелой реки...») — размышление о том, как логично было бы окончательно разлюбить жизнь; и все-таки она все равно дорога. И место для этого размышления выбрано подходящее — набережная Малой Невы возле Тучкова моста: «Я шел вдоль припухлой тяжелой реки...» Вот последняя строфа:

Я жизнь разлюбил бы, я с вами вполне
Согласен, но, едкая, вот она рядом,
Свернулась, и сохнет, и снова в цене.
Не вырваться мне,
Как будто прикручен к ней этим канатом.

Интонация была доверительной, разговорной, будто только вчера расстался автор с читателем и продолжает начатый разговор, как и в этом стихотворении о Гофмане:

Одну минуточку, я что хотел спросить:
Легко ли Гофману три имени носить?
О, горевать и уставать за трех людей,
Тому, кто Эрнст, и Теодор, и Амадей...

Или же поэт зовет читателя к прогулке по городу в стихах, полных воспоминаний с трагическим подтекстом:

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки,
У стриженных лип на виду...

Интересно, что при этом не всегда замечаешь, как «сделаны» стихи, не обращаешь внимания на «тиранию рифмы» (которую Кушнер обожает) — ну, есть она, держит строфу, и хорошо, а выделиться, показать себя особо она вовсе не хочет; не обращаешь внимания на пунктуацию, на тонкости мастерства, так они органичны, так слиты со смыслом стиха, а стремишься больше всего постигнуть именно этот смысл.

С самого начала это был целый мир, подаренный нам, мир, не уничтожаемый никакими ругательными статьями, нетленный.

С годами поэт, конечно, менялся, уходила некоторая импульсивность, внезапность поворотов мысли и настроения, стихи были подчас суше, но и глубже. Все раз-

нообразнее становились размеры и темы, появлялось все больше раздумий и трагических нот, а вера в драгоценность и силу жизни — она никуда не девалась, выраженная с такой же душевной тонкостью и чистотой.

Душевная тонкость всегда была сильной стороной поэзии Кушнера. Он видел и умел выразить то, чего не видели другие. И трагическую подкладку жизни ощущал во сто крат сильнее. В таком очень петербургском стихотворении вдруг открывается она, даже пугая своей неожиданностью:

Вижу серого оттенка
Мойку, женщину и зонт,
Крюков, лезущий на стенку,
Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт.

Кто еще увидел в ряду многочисленных петербургских рек и каналов, реки, ведущие прямо в ад?

«Поэт умеет извлекать глубочайший смысл из простых понятий. / Тончайший аромат — из самых обычных трав, растущих во дворе. / Но как же до сих пор слепы мы были...» — написала еще в начале XIX века американская поэтесса Эмили Дикинсон, а Анна Ахматова подхватила на свой лад, более обнаженно: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда...»

Недаром и в стихах Кушнера так часто попадают сорные травы: лопухи, кипрей, борщевик... И кусты. Кусты особенно любимы поэтом. Маленький сын лепечет, разговаривая с кустом, как с равным собеседником. И много лет спустя:

Так ветер куст приподымал,
Такой клубился белый цвет,
Плеча касаясь моего,
Как если б Тютчев мне сказал:
Зайдите, будет только Фет
И вы, а больше никого.

Но травы и кусты — это так, к слову. На самом деле все заключается в тончайшем умении увидеть неожиданное и глубокое в самых простых, казалось бы, вещах, пойти дальше и глубже поверхностного смысла, превратить сиюминутное впечатление в нечто серьезное и остающееся в душе надолго. И кажется вот-вот, еще немного — и будет постигнута глубочайшая суть происходящего. Ответ уже почти дан. Почти...

«На все отзывался он в сердце своем, / Что просит у сердца ответа», — написал когда-то Баратынский о Гёте.

Нужен лишь повод... Простое событие — залетевший в комнату шмель, которого пришлось подтолкнуть к форточке листом бумаги, — вызывает целую картину перенесенных шмелем страшных испытаний и рассказ его «дома» «о чудесном своем сверхъестественном избавленьи»; мы попадаем в микромир шмелиной жизни и сразу сознаем, как огромен и множественен большой мир. Кушнера вообще волнуют миры насекомых, их микромиры, нам недоступные и непонятные. («А бабочка стихи Державина читает / И радуется им: „Я червь, — твердит, — Я Бог!“» / Убогий червячок вдруг крылья распускает: / Узорная канва и радужный глазок»). Бездна между червяком-куколкой и нарядной бабочкой — и в то же время их близость, которая

томит, заставляет страдать, но и вознаграждается... И неожиданная связь между большим и малым миром — бабочка и Державин.

Или такой, тоже простой, казалось бы, повод: утром надо тихо выйти из комнаты, чтобы не разбудить поздно заснувшую жену. Это удастся, «все движенья отработаны». А кончается стихотворение грустными, заставляющими задуматься словами: «Спи. К любви печаль подмешена, / Страх, а думают, что страсть».

А вот яркий закат на даче. Он преображает все вокруг: «Живущий в доме том не знает, как горит / Его окно в лучах багряного заката...» И бревенчатый дом превращен закатом в сверкающий дворец, а хозяин его так и не узнает, «как чудно он живет, / Всей бедности своей наперекор и мраку». Не знает хозяин, не замечают и окружающие...

В другом стихотворении поэт стоит вечером у окна. Осень на дворе, «предсмертный шорох гибнущей листвы». И вдруг вопрос, обращенный к Кюхельбекеру, переключка с пушкинским «19 октября 1825 года»:

Скажи, Вильгельм, в другой, нездешней жизни
Бывает так же грустно или нет?

И вопрос к Кюхельбекеру словно облегчает тяжелую вечернюю грусть, знакомую всем, выводит из нее.

Ощущение себя «современником всех», особенно поэтов былых времен, все чаще возникает в стихах Кушнера. Он обращается к Лермонтову («Поговорить бы тихо сквозь века / С поручиком Тенгинского полка...»), чтобы сказать ему, как мы любим его стихотворение «Сон», и вступает с ним в разговор о «другой жизни».

В стихотворении «Мне приснилось, что все мы сидим за столом...» стол этот накрыт в саду, среди цветов, «и читает стихи Пастернак». И Лермонтов рядом. «А туда, где сидит Председатель, взглянуть...» Мы знаем, кто этот Председатель, но нам вместе с поэтом так и не удастся его увидеть, кто-то его все время заслоняет; или мы не смеем взглянуть туда. И нездешним очарованием веет от этой сцены в саду.

Часто говорит Кушнер с умершими друзьями. Какой нежностью звучат его строки, явно обращенные к Иосифу Бродскому:

Поскольку я завел мобильный телефон —
Не надо кабеля и проводов не надо, —
Ты позвонить бы мог, прервав загробный сон,
Мне из Венеции, пусть тихо, глуховато, —
Ни с чьим не спутаю твой голос: тот же он,
Что был, не правда ли, горячий голос брата!

Все больше привлекает поэта и античность, хотя она с самого начала, со сборника «Первое впечатление», ему сопутствовала. А сейчас из его «античных» стихов удалось составить целый сборник. Античные герои оказываются неожиданно близки. Стихи о забывчивости Тесея, не сменившего черный парус на белый, забывчивости трагической, сближают его с собственной забывчивостью автора в мелочах: «Все куплю, а спички позабуду, / Иль таблетку третью не приму...» И Кушнер признается, что «оплошность роковая» Тесея как-то утешает его в его будничных делах (хоть это, пожалуй, и эгоистично, добавлю я: Тесея-то жалко). А вот поэт сфотографировался рядом с бюстом Нерона, но косится на него со смешной опасливостью:

На этом снимке я с Нероном,
Как будто он мой лучший друг.
Он смотрит взглядом полусонным,
Но может рассердиться вдруг.

Возвращение Одиссея в родную Итаку: «Первым узнал Одиссея охотничий пес, / А не жена и не сын. Приласкайте собаку...» — приводит к размышлениям о жизни и смерти вообще. И очень хороша фраза, обращенная напрямую к читателю: «Приласкайте собаку...»

«Кушнер — поэт жизни во всех ее проявлениях. И в этом одно из самых притягательных свойств его поэзии», — написал когда-то Д. С. Лихачев, который любил и хорошо знал его стихи. «Стихи Кушнера о счастье жизни и неутраченной за него тревоге», — отмечала Л. Я. Гинзбург в статье о нем. Действительно, поэт ценит и принимает жизнь с неослабевающей верой в нее:

Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек:
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще. <...>

Мне дорог жизни крупный план,
Неровности, озноб
И в ней увиденный изъян,
Как в сильный микроскоп.

Верить в таинственность жизни — свойство детей и поэтов. Но так принимать жизнь с ее изъянами и болью могут далеко не все: «Быть нелюбимым! Боже мой! / Какое счастье быть несчастным! / Идти под дождиком домой / С лицом потерян-ным и красным».

А вот стихи о минутах полного ощущения счастья: «Вот счастье — с тобой говорить, говорить, говорить! / Вот радость — и вкрадчивой ночью, и ночью...»

Но Л. Я. Гинзбург сказала и точные слова о «взаимосвязанности жизнеутверждающего и трагического в его стихах». Трагическое, как изнанка скатерти, подкладка плаща (об этом в других стихах), всегда рядом и дает еще острее почувствовать ценность и быстротечность жизни.

Неразрешимых, именно неразрешимых, раздумий о смерти в стихах последних лет много, они постоянны и изменчивы. Смерть то выглядит «привилегией», а бессмертие вовсе не нужно, то все-таки пугает своей непостижимостью. Но совсем иначе в стихотворении «Стрекоза»: умирающий обещал своей жене (или любимой) прислать в окно стрекозу, если что-то существует по ту сторону жизни; но стрекозы все нет, дни идут, и вдруг слово «стрекоза» произнесено кем-то в «мобильную легкую трубку», словно действительно знак с того света. Но поэт тут же и разрушает это предположение:

Я-то думаю: он попросил
Перед смертью надежного друга,
Тот набрался отваги и сил:
Не такая большая услуга.

Размышления о смерти неотступны. И все больше в стихах последних десятилетий боли по поводу окружающего — это, по-видимому, неизбежно. Но больше в них и юмора, который был присущ Кушнеру всегда, но сейчас стал блистать все чаще и чаще. Например, подслушанный разговор ангелов о людях, об их житье-бытье, стихи, посвященные умершему год назад Самуилу Лурье:

Представляешь, там пишут стихи и прозу.
Представляешь, там дарят весной мимозу...

Или блестящий и добрый юмор стихотворения «С парохода сойти современности...», юмор и по отношению к «вспыльчивым мальчикам», готовым всех подряд сбрасывать «с парохода современности», и по отношению к самому себе, решившему сойти с этого парохода раньше, еще до выходки «мальчиков», но вдруг оглянувшись с прощальной щемящей жалостью:

Пароход-то огромный, трехпалубный,
Есть на нем и бильярд, и буфет,
А гудок его смутный и жалобный:
Ни Толстого, ни Пушкина нет.

В стихотворении «Прощание с веком» на редкость удачно использована в обращении к ушедшему веку, превращенному в почти живое существо, переосмысленная хрестоматийная строка Ходасевича; утратив трагический оттенок, она вдруг становится комичной:

Посмотри на себя, на плохого,
Коммуниста, фашиста сплошного,
В лучшем случае — авангардист.
Разве мама любила такого?
Прошлогодний коричневый лист.

И становится действительно немного жалко этого «злодея», который «потоптался чуть-чуть — и ушел». Мы жили в нем вместе «с Шостаковичем и Пастернаком» и сроднились даже с его бедами...

Прелестен юмор этого стихотворения об Англии:

Англии жаль! Половина ее населения
Истреблена в детективах. Приятное чтение!
Что ни роман, то убийство, одно или два...
В Лондоне страшно. В провинции тоже спасенья
Нет: перепачканы кровью цветы и трава.

Непредсказуемы и поэтому особенно смешны последние его строки:

Может быть, все это связано как-то с Шекспиром:
В «Гамлете» все перебиты, отравлены все.

Обращается поэт порой и к политическим темам, что обычно ему не свойственно. Но кто сейчас не пишет и не говорит о политике? Тут можно было бы и поспо-

ритель с ним все на ту же, например, тему: «Конечно, русский Крым». Конечно, русский, только можно было бы вернуть его в Россию как-то иначе, иным способом, более цивилизованным... Но не будем спорить, тем более что гораздо раньше, еще в прошлом веке, написано Кушнером прекрасное стихотворение «Нет дороги иной для уставшей от бедствий страны...», кончающееся словами:

Каждый раз выбирает Россия такие пути,
Что пугается Запад, лицо закрывает Восток.

Поэтический мир Александра Кушнера зовет нас в иное измерение. И задумываешься о другом, о том, над чем вечно размышляет настоящая поэзия: о величии, и трагизме, и ничтожестве, хрупкости жизни, о ее красоте и о смерти, ждущей на пороге.

И все чаще вспоминаешь строчки Кушнера, написанные давно, тоже в прошлом еще веке, по поводу искусственных руин в парке:

Друзья мои, держитесь за перила,
За этот куст, за живопись, за строчку,
За лучшее, что с нами в жизни было,
За сбивчивость беды и проволочку,
А этот храм не молния разбила,
Он так задуман был. Поставим точку.

Будем же держаться за эти, и не только эти, но и многие другие, любимые нами кушнеровские строчки. И следить за тем, как из простых, «домашних» сюжетов рождаются глубокие и значительные поэтические мысли, как вдруг открываются глаза на что-то до сих пор неведомое.

Ирина МУРАВЬЕВА